

ОДНО яркое, горькое воспоминание детства. Он, босоногий деревенский мальчик, возвращается на пепелище родной усадьбы. За руку осторожно ведет его бабушка. Она плохо видит. И от старости, и потому, что слезы застилают глаза. Здесь прошли фашисты. У порога дома лежит знакомый жернов, много лет служивший порогом. Вечерами, нагретый за долгий летний день, жернов долго хранил живое тепло солнца. Солнце маленький Юстинас видел и на перекрестке дорог. Оно змеилось густыми лучами в самом центре резного креста. Деревянный крест с распятием потемнел от дождей, трещины рассыхающегося дерева бежали вдоль тела Христа. Солнце — языческое, непокорное — оставалось на христианском символе смирения и страданиям искупляемой гордыни...

...Этот свой крик Юстинас помнит и сегодня. Он ступил босыми ногами на шершавую поверхность жернова. Жернов был раскален и только присыпан пеплом пожара.

Обжигающая память детства не раз свяжет образы его поэм. В понятие культуры поэта первым слагаемым входит, по-моему, нравственная память. С нее начинается боль соучастия, сознание родства и причастности к народной жизни, совесть и верность истине. Потом приходят опыт жизни, знания, все расширяющийся горизонт мира. И счастлив художник, который, имея чистый источник народной памяти, умеет расти, связывая личное с общим, опыт своего народа с опытом иных людей, продлевая понятие культуры в глубь истории.

Юстинас Марцинкявичюс принадлежит к тому среднему поколению литовских художников, которые в середине 50-х годов внесли заметный вклад в советскую литературу и искусство. В кино, графике, архитектуре, живописи, театре Литвы явствен след зрелого новаторства, смело соединившего национальные традиции с рациональным, строгим рисунком современных эстетических требова-

ний. Именно это отсутствие тягбы между национальным и современным, органичное приятие нового как своего, а не навязанного модой, и дало тот плодотворный синтез в искусстве и литературе Литвы, который был отмечен всеми, кто следил за культурной жизнью этой республики.

В наши дни одинаково бесперспективны как претензии на исключительность «нутряных», «стихийных» и прочих традиций, задубевших в своей хуторской «самобытности», так и претензии на последний крик чужой зарубежной моды под видом последнего слова современности. И невежество, и «широта» без нравственно-идеологического критерия ценности — одинаково противостоят культуре.

Разговор, начатый давно, мы продолжаем в Македонии, куда нас с Ю. Марцинкявичюсом пригласили в числе других на Стружские вечера поэзии.

...Юстинас Марцинкявичюс больше молчит и застенчиво улыбается. Мои рассуждения он слушает сочувственно, но только разводит руками. Он не рисует, не играет в скромность. Этот удивительно серьезный, чуткий, начитанный человек, думающий много и напряженно, действительно очень скромный и вытравленный из него ответы нелегко. Ему почему-то кажется, что читателю не будут интересны его мысли о поэме... Напоминаю ему, что и несколько лет тому назад он ссылался на то же самое, а наш диалог о судьбах поэмы в журнале «Вопросы литературы» выявил в Юстинасе великолепно мыслящего теоретика современного эпоса. Я напоминаю ему отправной тезис: чем больше знает человек о мире и о себе, тем труднее ему прийти к эпическому состоянию осмысления себя в мире... Так, кажется, он говорил тогда?

...Юстинас сидит на кровати в охридском отеле «Славия» и держит на весу руку в лубке. Вчера на мосту, перед торжественным открытием митинга поэтов его сбила обезумевшая от света прожекторов и выстрелов ракетниц лошадь, неизвестно как затесавшаяся в толпу. Он морщится от

боли, но пытается острить: у него в стихах было когда-то неосмотрительное: «очень я по лошади соскучился...». Шутки шутками, но наша поездка омрачена. Сейчас придут македонские друзья и поведают нас с Юстинасом в Скопле. Я сопровождаю друга. Но в этой ситуации обнаружились и свои плюсы. Наконец мы можем поговорить по душам. Юстинас курит и пытается отвлечься от боли. Да, согла-

шательство возвращается к эпосу.

Юстинас считает, что в период формирования наций впервые, видимо, была выдвинута необходимость эпоса как системы мироощущения и мировоззрения — как идея единства нации. Можно говорить об историческом заказе на эпос.

Не вслух, про себя думаю: а сегодня? Мы имеем дело в искусстве с единством не только отдельных

разговоров, так сказать, не прикоснувшись бы к общечеловеческому пульсу.

...Мы проезжаем широкую долину. Я говорю Марцинкявичюсу, что она напоминает мне место действия его поэмы «Кровь и пепел» — в этом году я побывал там, в Литве, под Каунасом. Говорил с колхозниками, поразился тому, как город «входит» в деревню и протекает этот процесс без пресловутой трагедии и метаний, которых так

много в литературе, особенно в стихах молодых поэтов, имеющих прочную городскую прописку. Может быть, это национальная особенность литовцев, для которых от города до села всегда было близко? Близко, конечно, в понимании географическом, не психологическом. Кстати, какой смысл вкладывает он, поэт, в название книги лирики, вышедшей в Москве, — «Деревянные мосты»?

— «Деревянные мосты» — это прежде всего картина моей деревни. Это воспоминание. Это что-то теплое, маленькое... И немножко полемическое? — Может быть, — улыбается Юстинас, — я не думаю... Но это связь от человека к человеку — негромкая, необходимая... Он как-то не вполне удовлетворен этой книгой. Нет, не переводчики виноваты. Состав, что ли, не тот. Трудно сказать, но не состоялось очень интимное, сокровенно готовившееся свидание с русским читате-

лем. Я пытаюсь спорить, называю великолепные стихи, переводческие удачи. Он почти соглашается, что, вероятно, слишком требователен. Но в лице остается задумчивость.

«Миндаугас» — другое дело, — считает он. Трагедия в стихах о кровавом величии, о власти, народной памяти, месте художника, о патриотизме подлинном и мнимом, эта вещь и переведена А. Межировым отлично, и приня-

тая, так сказать, не прикоснувшись бы к общечеловеческому пульсу.

для «актуальности лирических мгновений», которые помогают ему, «так сказать, хватать жар голыми руками». Он считает также, что эти лирические отступления не дают «повторяться» в поэмах. К каждой последующей он подходит с новым запасом чувств, с обновленным лирическим опытом. Я уже писал как-то, что в лирике Марцинкявичюса этюды. Он отдается ей сполна, но всегда за ней стоит некое ожидание. Кажется, поэт ждет, если и не в полном смысле, чего-то «подсобного» для эпоса, во всяком случае, тяготеющего к разумному постижению явления, ищет связи и причины, целое как систему. Но при этом не бывает сух и рассудочен.

В этом качестве дарования, на мой взгляд, обнаруживает себя еще одна черта культуры поэта. Вспомним А. Твардовского. Большие, серьезные национальные художники как бы опасаются разменяться на существование, раствориться в наблюдениях частных, чувствах случайных, выводах поспешных, пришедших под влиянием минуты. Их лирика в себе самой несет начало эпическое. И кто знает, черта ли это эпохи, индивидуальности или цельности владеющей ими концепции? А может быть, и то, и другое, и третье.

Сегодня в советской поэзии живет тяга к эпосу. Время лирики волнами вздымает эпоху, на какие-то мгновения обрушивая на берега ее пенные и высокие гребни. Но потом волны медленно сливаются в одно, могуче покачивающееся целое — океан... Эпос подобен океану. Его приметы интересовали человечество давно. Теоретики могли опровергать друг друга неоднократно, но оставалось нечто, чего нельзя опровергнуть. Наверное, вечное в эпосе — связь с глубокими основаниями общей жизни.

...Мы размышляли об этом уже ночью, тихо переговариваясь в большом номере гостиницы «Метрополь» в Скопле. В открытую дверь балкона доносился то треск цинада, то приглушенная английская речь — соседи не спали тоже. Вовсю светила большая македонская луна. Внизу спал город, стертый землетрясением и выраставший вновь из

руин. Отель наш с высокой горы казался, наверное, самолетом — многие окна светились.

Я следил за огоньком сигареты Юстинаса, и мне казалось, что в этом огоньке и жила мысль, пульсировала и ждала, когда он молчал, описывала сложные линии, когда он искал истину. Мы говорили тогда и о постороннем этой теме, но осталось впечатление многих прочитанных им книг, продуманных мыслей, тревоги за то, как он будет понят людьми, — глубокое, устойчивое впечатление серьезности жизни и работы. Серьезности долга поэта перед людьми, которые верят в него.

Разве мог я тогда предполагать, что пройдет около месяца и на литовском языке впервые появятся переводы из македонской поэзии, его, Марцинкявичюса, «отчет» о командировке?... Это тоже много говорит о поэте, для которого дружба культур — не просто слова.

Культура поэта, я полагаю, заключается и в том, что художник, ощущая за своей спиной шелест крыльев времени, не пытается ошутить себя в центре вселенной, чтобы в тишине душевного своего поползновения на «гармонию» создать спокойную и выверенную модель мира. Нет, Марцинкявичюс потому и большой художник, что живет в климате времени, климате эпохи, а не в микроклимате схоластически выведенного литературного представления о «погоде». Его творчество противостоит машинальному созданию «произведений», якобы «интуитивной» глупости невежд, самоуверенной браваде тех, кто «постоянно ясен». В упоминавшемся ранее интервью журналу «Вопросы литературы» Марцинкявичюс выразил свое решительное несогласие с теми критиками, кто считает, что эпическое состояние мира — спокойное состояние, когда контуры жизни неколебимы и ясны. Он скорее готов утвердиться в противном: «эпос — это... преодоление противоречий и титанический порыв в новое состояние».

Творческая практика Юстинаса Марцинкявичюса подтверждает плодотворность активной народности, неотрывно связанной с культурой, современностью.

Владимир ОГНЕВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮСТИНАСА МАРЦИНКЯВИЧЮСА

ВСЕ ПОЗНАТЬ — И В МИРЕ, И В СЕБЕ...



шается он, нечто подобное про «эпическое состояние» он говорил. Эпос — картина целого. В эпосе мы собираем в систему наши разрозненные лирические мгновения, наши разорванные представления о жизни. В эпосе мы творим мир из хаоса. Национальный опыт — вот, по словам Марцинкявичюса, первый, так сказать, фильтр нашего эмпирического опыта.

...Ярко-желтый «Фиат-спорт». Фантически два места на троих. Водитель говорит, что уместится. Уместился. Юстинаса усадили рядом с водителем, а я, как складной перочинный ножик, сжался между спинкой кресла и суживающимся и снижающимся потолком. Зато едем быстро. В дороге разговор об эпосе несколько уклоняется в сторону, вслед за таинственными «лирическими отступлениями» нашего симпатичного водителя. Дело в том, что он неожиданно оставался и исчезает на час-полтора с криком «одмор!» (отдых). Он появляется веселый из какого-нибудь домика, стоящего у дороги, и некоторое время поет песни, пристукивая по баранке волосатыми пальцами. Иногда он просто останавливается с криком: «Гочо!» — и бежит обнять своего друга. Раз мы простояли минут двадцать в Прилепе в каком-то тупичке, где на беленых стенах висели гирлянды желтого табана, пока наш шофер навещал «майку» (мать), которая, правда, для матери выглядела довольно молодова... Как бы там ни было, а

наций, а разных наций, объединенных идеологически. Как в этом процессе единства национальных и интернациональных задач осуществляется переход к новой структуре эпоса? Не может же не меняться и форма поэмы! И сущность исторического заказа в первую очередь.

Как бы угадав мои мысли, Юстинас говорит о том, что сегодня, по его мнению, просто невозможно написать талантливую книгу, ко-

та полно и горячо — и театрами (есть уже постановки в Литве, готовится московская), и читателем...

Я вспоминаю, что от первых поэм («Двадцатая весна», «Публицистическая поэма»), через «Кровь и пепел» к «Донелайтису», «Миндаугасу», «Собору» Марцинкявичюс шел как бы в глубь истории, забираясь все дальше, а острота постановки и решения современных проблем и главное — глубина постижения жизни искусством становились все отчетливее. Особняком стоит поэма «Стена». Самая, может быть, «условная» из всех его эпических произведений. Эта линия символики словно бы прервана в творчестве литовского поэта. Но так кажется лишь на первый взгляд. И, быть может, не только внешняя связь существует между черной, зловещей тенью Зверя из поэмы «Стена» и тенью Короны — кровавой тенью из ремарки «Миндаугаса»...

Марцинкявичюс обычно перемежает крупные свои произведения — эпос и драму — лирическими циклами, которые не всегда потом складываются в отдельные сборники. Ему нужна такая лирическая «разрядка», как он сам говорит,